

Современные орловские писатели
Избранное

Том первый

ПРОЗА



АНДРЕЙ **ФРОЛОВ**

Душегуб
«Мусорный день»
Египтянка
Могила



Душегуб

(рассказ)

«Колюх-Душегуб» – так за глаза звали сельчане молчаливого сорокалетнего мужика из кривой хаты на отшибе. Когда он появился в деревне, точно не мог сказать никто. Порой казалось, что он жил здесь всегда, даже до бабки Настасьи, которой уже почти сто. Вроде Колюх был немым, хотя некоторые утверждали, будто раньше он разговаривал. Во всяком случае, слышал мужик отменно и всё понимал – тут уж сомнений быть не могло.

Жил Колюх полным отшельником в кривой хате на окрайке села, в дом к себе никого не пускал, да и не было желающих набиваться к нему в приятели. Занимался тем, что резал из липы ложки, ковшики и прочую хозяйственную ерунду. Поделки свои разносил по соседям: зайдёт в хату, положит на сундук у дверей, постоит с минуту и уйдёт. Если что-то давали взамен – брал, нет – и так ладно.

А смежной профессией у Колюха был убой различной домашней животины. Вся деревня шла к нему с этой надобностью. Даже те, кто без обмороков и желудочных колик сами легко могли оторвать курью башку, предпочитали не мараться лишний раз и несли скотинку к местному забойщику-любителю.

Колюх никогда никому не отказывал, лишь пасмурно усмехался в клочковатую бороду. Не говорил он и цену за свою

кровавую работу – каждый от себя решал, чего и сколько дать.

Только Басов, гаишный начальник из райцентра, не имел с Колюхом никаких дел. Лет десять тому Басов выкупил у Самойлихи, увезённой дочкой в город «для уплотнения жилплощади», домик в этой деревне и поселил в нём старушку-мать. А на лето привозил и жену с сыном.

Гаишник презирал Колюха и открыто называл его живодёром, на что тот недобро щурился и по-волчиному скалил удивительно белые и ровные зубы.

На забой более крупной скотины – овец, свиней, коров, а порой и лошадей – Колюх ходил сам, прихватив неизменный свой отточенный тесак. А мелочь всякую – кур, гусей, кроликов и коз – принимал на своём дворе. Птицу бил Колюх красиво, споро, иной раз по два десятка кряду. В сезон к подворью выстраивалась очередь. Неподалеку от его крыльца врос в землю огромный кленовый пенёк овальной формы, от частого употребления кругло выщербленный в сердёвке, и продолговатое долблёное корыто – для стока крови.

Деревенская ребятня, собираясь летними вечерами на гулянки, пугала друг дружку рассказами, будто Душегуб в этакую убойную пору по ночам пьёт кровь из своего корыта, а потом ходит по деревне от дома к дому и заглядывает в тёмные окна. Говорили, что видели, как он на утренней зорьке лазает с примитивной острогой по мелководному пруду, а добытых карасей пожирает сырьём и лягухами закусывает... Много ещё чего говорили.

Случалось, сам Колюх вдруг бесшумно появлялся из темноты возле усевшихся вокруг магнитофона подростков, присаживался в сторонке на корточки и молчал. Хорохорясь друг перед другом, ребята не разбегались в страхе, только девчонки тесней прижимались к парням да тема разговора менялась.

Как и в любой русской деревне, в этой тоже имелся свой

дурачок. Славику было уже под тридцать, но вот беда – застрял мальч в развитии где-то на десяти – двенадцати годах. Славик целыми днями бродил по селу и окрестностям, появляясь то тут, то там. В один из своих наездов в деревню гаишник Басов презентовал бедолаге потёртый милицейский китель с подполковничьими погонами, и теперь местный дурачок, мня себя чуть ли не начальником угро, проводил бесконечные расследования пригрезившихся ему преступлений. В кителе он, наверно, даже спал.

В ребячьих посиделках Славик принимал неперенное участие.

– Ну как, Славик, жизнь-то? – спрашивал гаишный сынок, пятнадцатилетний Пашка.

– Так чего ж, работаем, – отвечал дурачок, любовно поглаживая прицепленный на китель парашютный значок. – И не Славик я, а оперуполномоченный полковник города Болхова. У меня кабинет знаешь какой? И машина сто первая!

– Что-то я каждое лето приезжаю – ты всё без дела болтаешься. А говоришь, работаешь.

– А я... это... – терялся Славик.

– В отпуске? – подсказывала одна из девчонок.

– Точно! – дурачок расплывался в блаженной улыбке.

– Славик, ты – придурок, – безжалостно разъяснял милицейский сынок. – Тебе Наполеонову шапку дай – ты императором будешь.

– Чевой-то императором? – обижался Славик. – А у него какая шапка?

– Ну всё, достал. Вали отсюда, выродок. Иди бандитов лови. – Пашка лениво плевал в сторону блажного.

Неподалёку на корточках сидел Колюх-Душегуб и по обыкновению мрачно улыбался...

Весной Колюх подобрал котёнка. Котёнок был крохотный

и дикий, жил в подвале сельмага и в руки никому не давался – если кто к нему приближался, шипел, фырчал, выгибал спину, будто пытаясь прикинуться маленьким одногорбым верблюдом, и исчезал в подвальных закоулках.

Однажды котёнок зачем-то сунулся в приоткрытую дверь магазина, но тут кто-то из покупателей стал заходить следом. Напуганный зверёк метнулся обратно и... почти успел выскочить. Не успела одна из задних лап – тугая пружина швырнула на неё стальную дверь.

Несколько дней прошло, прежде чем котёнок снова стал появляться в подвальном окошке. Он вконец истощал, а раненая лапка волоклась за ним окровавленным ошмётком.

Тут-то и заметил беднягу Душегуб, принесший в сельмаг свои деревянные товары.

Со спокойным упорством Колюх два дня охотился на котёнка. И подловил-таки момент, когда оголодавший зверёныш залез с головой в целлофановый пакет с килькой, вынесенный сердобольной продавщицей. Колюх просто подошёл и за хвост поднял котёнка вместе с пакетом. Тот, попав в человеческие руки, разом обмяк, обвис всеми конечностями, будто притворился мёртвым.

Колюх сунул кошака за пазуху и ушёл домой...

Выходил Душегуб котёнка. Полтора месяца выхаживал и выходил. Бабка Настасья, сама известная травница, рассказывала, что ненароком видела, как Колюх пожуёт-пожуёт какую-то незнакомую травку и приматывает её тряпицей к котовой лапке. А сам зверёк, будто понимает, что его врачуют, висит в Колюховых лапищах, как пакля, – не пискнет, не дёрнется.

К июлю котик был как новый: округлился, распушился – усы топорщит, хвостом метёт. Только глаз недобрый – жёлтый, с лёгкой косинкой, и лапка раненая шерстью не

обрастает – лысая. Признавал, понятно, одного Колюха – ластился к нему, мурчал. От других бегал и прятался. Осторожный был котёнок, да не уберётся...

Возвращался как-то Колюх с луга, куда по непонятным делам своим ходил, и поодаль от Настасьиной избы уже шёл, как заметил неправильное, необычное. Что-то пацаны у бабкиного плетня крутятся, не иначе пакость какую затеяли.

Неправильного, по мнению Колюха, в этом мире было много, и в другой раз прошёл бы он мимо, но тут развернуло посмотреть, разобраться...

Главным в компании был милицейский Пашка – он и двое ребят помельче азартно расстреливали из пневматического пистолета Колюхова кошака, привязанного за лапу к плетню. Котёнок молча дёргался, прыгал в сторону, но верёвка бросала его назад, а крошечные стальные пульки взбивали пыль под его лапами и ерошили кошачью шерсть. Стрелки были неумелые, убойная сила оружия слабая, и только поэтому зверёк был ещё жив.

Пашка наверняка выцеливал притихшую вдруг жертву, когда полновесная затрещина свалила его носом в лопухи. Его приспешники, пригибаясь, прыснули в разные стороны.

Колюх подобрал пистолет, не глядя, разломил его надвое, будто пластмассовую игрушку, и забросил обломки подальше. Потом склонился над своим израненным питомцем.

Кошки, говорят, имеют девять жизней, но этого котёнка уже было не спасти никакими, даже самыми чародейными травами. Он истекал кровью, перебитые лапы мёртво висели. Кошак пытался поднять голову, немо, по-рыбки, открывал пасть, будто что-то хотел сказать Колюху, которого в деревне звали Душегубом...

Арестовывали Колюха всемером. Восьмым примазался было блажной Славик, которого впопыхах приняли за высо-

кое начальство, но быстро разобрались и прогнали, надавав тумачков. Даже погон оторвали.

Когда оперативники вломились в хату, Колюх ладил липовый гробик для котёнка.

– Так-так, – сказал лейтенант, разглядывая Колюхов рабочий тесак с засохшими пятнами крови. – За ним, может, и посерьёзней дела имеются...

В суде Пашкины дружки показали, что избивал Душегуб парня ни за что, долго и жестоко. Вдобавок милицейский папаша принёс ворох медицинских справок, из коих, если их объединить в одну, следовало, что травмы, полученные его сыночком, несовместимы с жизнью и вообще выжил Пашка чудом.

Пригласили на заседание и ещё одного свидетеля – бабку Настасью, которая, как оказалось, видела из своего окошка всё происходящее у плетня.

– Вы видели, как подсудимый избивал потерпевшего? – спросила у неё строгая судья.

– Колюх-то? – переспросила напуганная принятием присяги и вообще официальной моментом бабка. – Конечно, сунул мальцу по тыльнику разик... может, два...

Сам Колюх в суде ни слова не сказал. И отправился по этапу...

Прошло пять лет. Колюх в деревню больше не вернулся. Говорят, порешили его в зоне уголовники. Да, наверное, врут. Я думаю, не тот Колюх человек, чтобы дать себя за здорово живёшь жизни лишить. Просто уехал куда-нибудь, не захотел вернуться в эту деревню. Пусть им кур теперь Пашка режет.

«Мусорный день»

(рассказ)

Что такое «мусорный день»? «Мусорный день» – это почти как праздник. Во всяком случае, так его ждут. А случается он раз в неделю – у нас это воскресенье. Именно в этот день по улице сверху вниз неторопливо, с длинными остановками проезжает мусоровоз. Давно уже кем-то определены конкретные места, где грохочущая и дребезжащая машина останавливается, водитель как бы нехотя выкарабкивается из кабины, с глубокомысленным видом манипулирует рычагами сбоку кузова, и огромная шарнирная рука ставит на землю мусорный контейнер. А народ уже давно собран, организован и сплочен. Впрочем, по порядку.

Мусоровоз проводит тотальную чистку улицы примерно с часу до трех дня. Но ещё до полудня над нашей дверью визгливо кричит звонок: в калитку, боясь собаки, которой давно нет, просовывается соседка, тетя Надя, и торжественно возвещает:

– Сегодня – мусор!

Об этом никто не забывал, но соседку всё равно благодарят за хорошую весть. Ещё полчаса спустя отец начинает собираться.

– Пойду, – говорит, – на пост.

Мама возмущается:

– Куда ты? Только половина первого. Тебе что, до поста полчаса идти, что ли?

Но это нужно понимать, этого события целую неделю ждала вся улица, на которой сегодня необычайнолюдно. Не удаляясь от своих калиток, прохаживаются разно одетые обыватели. Кое-кто уже вынес и поставил – пока на этой стороне улицы – пластиковые вёдра, оцинкованные вывар-

ки, полиэтиленовые пакеты с мусором. Все поочередно подходят к проезжей части и напряжённо всматриваются вдаль. Народ пока разогревается общением с непосредственными соседями.

Другой наш сосед, Борис, выходит, как всегда, в сопровождении собачонки – сегодня это черно-белая Муха, значит, Жучка была в прошлый раз. Борис озабоченно спрашивает:

– Будет сегодня, не знаешь?

Отец не знает, но говорит, что нужно надеяться. Они начинают лениво обсуждать различные бытовые надобности. Муха, не очень-то обращая внимание на пристающего уличного кобеля, живо интересуется содержимым чужих мусорных ведёрок.

Ближе к часу народ, прихватив свои ёмкости с мусором, начинает перетекать на другую сторону улицы, к месту остановки мусоровоза.

Вот тут-то и разворачивается действие, ради которого, собственно, все и собрались, – живое общение по полной программе. Кумушки, в обычные дни не имеющие причин встретиться для обсуждения свежее испеченных новостей, собираются в небольшие группки и буквально рвут эти самые новости друг у друга изо рта. Хвастаются зятями, прикупившими автомобили, шубы их дочкам, хрустальные люстры и кухонные комбайны. Проклинают зятьёв пьющих и нерадивых. Осуждают беспутную Нинку, заведшую «нового хахалю», и Верку-дуру, от которой сбежал «мужик-золото».

– Петрович, выпьешь? – это мужики уже расположились на крыльчке одного из домов поблизости. Здесь беседы ведутся традиционно о «правильной политике президента», о том, что «щуку лучше брать в половодье, по мутной воде», о том, что «Спартак» вчера облажался не по-детски». По кругу ходит одинокий стакан, зато закуска припасена у каждого.

Притащилась, тяжело опираясь на клюку, древняя бабка

из углового дома. В пластмассовом ведре погромыхивает коробка из-под кефира. Подошла к очередному впередсмотрящему, прошамкала беззубым ртом:

– Не видать, сынок?

Получив отрицательный ответ, поудобней упёрлась хилой грудью в свою клюшку и заснула этакой треногой.

Подтянулась и ребятня, которой нет дела до собственно мусора, но раз уж собрался народ, стало быть, будет весело. Гомонят, «салки» затеяли.

Настроение праздничное, сравнимое разве только с атмосферой майских демонстраций прошлых времён, когда люди вот так же выходили из домов утром и, прежде чем отправиться по своим конторам и построиться в колонны, кучковались на родной улице, выпивали, шутили – общались, словом.

– Едет!!! – сверху вниз прокатилось по улице.

На секунду, вздрогнув, приостановилась ребятня, подобрались и теснее сплотили ряды взрослые. Действительно, в конце улицы, круто уходящей вверх, к вокзалу, показался трудно ещё различимый, но безошибочно узнаваемый мусоровоз.

Убедившись в неотвратимой близости апогея праздника, граждане возобновили разговоры, которые сделались более оживлёнными. Мальчишки с новой силой продолжили беготню и чуть не сшибли старушку, повисшую на клюке. Ведро с грохотом покатилося по асфальту проезжей части, потеряв на ходу кефирную коробку.

– А ну, цыть! – неожиданно громко и грозно крикнула проснувшаяся бабка и, будто спохватившись, едва слышно проскрипела, неизвестно к кому обращаясь: – Не видать, сынок?

Ведро тут же вернули, сунув туда одинокую коробку.

– Видать, бабка, видать, – за всех ответил Николай из

дома, что напротив нашего. – Уже на Индустриальном стоит.

Следующее после Индустриального переуллка место остановки мусоровоза – наше. Тут уже из калиток начинают выглядывать те, кто до сих пор отсиживался дома. Это которые или не в ладах с улицей, или молодые домохозяйки, коим с общественностью поделиться ещё нечем.

И вот мусоровоз скрипит тормозами и тяжело отдувается – прибыл! Контейнер установлен на землю и готов к заполнению. Но...

– Стоять! – громко командует водитель, закрывая грудью мусоровместилище.

Люди с уже занесёнными для броска вёдрами и пакетами удивленно замирают. Только старушка с клюкой, наверно, по причине глухоты деловито ковыляет к контейнеру и вываливает туда свою пресловутую картонку. Завершив ритуал, она не спешит уходить домой, а отходит в сторонку и снова повисает на клюке.

– Предупреждаю, – инквизиторским голосом заявляет водитель. – В следующий раз мусор буду принимать только по предъявлении квитанции. Небось, половина из вас не платит.

– Как не плотит?! Кто не плотит?! – возбуждённо шумит народ. – Все плотют!

Люди с мусором напирают, машут руками и брызжут слюной. Интересно, как это «в следующий раз» этот бюрократ собирается защитить контейнер от справедливо возмущённых обывателей, для которых жизненно важно расстаться с накопленными за неделю отходами? Наверно, и сам водитель задался этим вопросом, а может, вспомнил, что для народа он – всего лишь мусорщик, потому что обречённо махнул рукой и отправился в кабину выкурить очередную сигарету.

Началось! Воздух, отяжелевший с прибытием мусорово-

за, загустел окончательно от мелькающих пакетов и ведёрок, криков «Посторонись!» и волнами распространяющегося от контейнера амбре. Кто-то в суматохе наступил на Муху. Её отчаянный визг послужил сигналом для начала следующего этапа мусоросдачи.

Нестройно захлопали калитки, из них рванули через трамвайные пути с вёдрами те, какие необщительные: и бегут-то неуклюже, как-то бочком, суетливо – не наши люди. Молодые хозяйки семят, стесняясь домашних халатов, которые они одной, свободной рукой пытаются запахивать на груди и удерживать от распахивания внизу. Получается плохо, дамочки краснеют и готовы провалиться сквозь землю вместе с вёдрами.

Трамвайное движение временно остановлено. Вагоновожатый понимает, что стихию не остановить, и даже не пытается нажимать на кнопку звонка – привык. Минимум десять минут трамвай будет стоять, пережидая, пока людской поток, катящийся через рельсы в обоих направлениях, станет жиже.

Контейнер наполняется быстро, граждане сноровисто бегают за новыми партиями отходов, торопясь выбросить всё, что можно. Те, что поопытней, вышли семьями и за одну ходку вынесли, кажется, чуть ли не весь имеющийся у них скарб.

Издалека, сгибаясь под тяжестью полиэтиленового мешка, приплёлся дядя Роман – ему ближе на Индустриальный, но весь мусор сплавить там он не успел.

– Роман, по всей улице собирал? – шутит кто-то.

Водитель уже трижды дергал рычаги, и шарнирная рука размашисто опрокидывала контейнер во чрево мусоровоза. Опыт подсказывает, что четвертого раза не будет, – впереди ещё почти пол-улицы. Суматоха постепенно гаснет.

– Больше не принимаю! – кричит водитель, вскакивая на подножку. – Учтите, в следующий раз...

Не закончив, он снова досадливо машет рукой, прыгает в кабину и зло рвёт машину с места.

Всё. А народ не расходится. Исчезает лишь суетливое возбуждение, на смену которому приходит благостное удовлетворение: большое дело сделали – надо бы sprыснуть по-настоящему. Что мужики и намерены осуществить, собираясь неподалёку, в тенёчке под липами. Потом кто-то принесёт низкий столик, достанут домино и будут, сдержанно матерясь, стучать костяшками уже дотемна. Женщины тоже не уходят, продолжая делиться впечатлениями о своей и чужой, да вообще о жизни, в целом нелёгкой, но всё же дарующей редкие радости и оставляющей надежду на будущее, хотя бы в виде чумазных ребятишек, весело скачущих по уютным тротуарам родной улицы.

Заканчивается воскресный день. Заканчивается праздник, не быть которого просто не могло, – ведь «все плотют».

Египтянка

(рассказ)

– Жизнь, ребяташки, порой так вывернет, что диву даёшься, – говорил Семёныч, обращаясь к нам, молодым сотрудникам, вернувшимся в гостиничный номер под утро.

Был он человеком, по нашим меркам, пожилым – за сорок, тогда как любой из нас не дорос ещё до двадцати пяти. В совместную командировку мы попали впервые и мало чего о Семёныче знали, но прислушивались и не спорили, когда это не задевало обострённого молодостью максимализма.

– Я, когда помоложе, тоже прыток был, – продолжал Семёныч, а мы развешивали уши, догадываясь, что читать нравочения нам никто не собирается. – Тоже с ветки на ветку

чижигом скакал и не ждал от судьбы окорота. Даже за границей бывал. Один раз, но мне и того хватило. В Египет сподобился – это вам не Польша-Венгрия, экзотика сплошная. Нет, не тогда, когда мы им дружественную помощь оказывали, а уже потом, когда туда на солнышке погреться ездить стали, вроде как раньше в Крым.

Длинным рублём я к тому времени закарманился лет на двадцать вперёд – двенадцать годков в Нижневартовске нефть качал, полным бирюком жил. Надоело, уволился и рванул к арабам. Полежу, думаю, на горячем песочке, жизнь дальнейшую спланирую.

Прелести египтянские описывать не буду: пальмы там, верблюды, бары, казино – это понятно, теперь, считай, каждый туда два раза в год мотануть может... Наши-то, конечно, и при социализме в африках встречались, только редко... Я вам, как планида моя в том Египте круто изогнулась, расскажу.

Казак я был вольный – ни семьи, ни друзей особых, при деньгах, хоть и не миллионер. Погулять тоже не дурак был – компания, вино, девчонки. Но то здесь, на родине, а там – хожу идиотом, тарабарщины ихней не понимаю, красоты туземные уже обрыдли. В общем, провалялся у моря две недели и затосковал, домой захотелось... А на пляже там, ребятки, ох, не затомиться – грех. Девки хороши – аж зубы сводит! Нет, арабесок-то египетских там не увидишь, а вот любые шведки-германки – это пожалуйста! Ноги километровые, груди голые, остальное тоже... На живот поворачивайся и глаза за тёмными очками зажмуривай – только так от конфуза спасёшься.

Не выдержал я: в последний вечер коньяку полбутылки выдул, иду к дежурному администратору... Это у нас в гостиницах одни бабы работают, у них – только мужики.

Объяснил ему руками, как сумел: нужна, мол, женщина

на ночь. Сам глаза прячу – неловко мне какому-то арабу нужды свои – вполне естественные, кстати – излагать. А он, подлец, скалится белозубо, усишки свои топорщит и почти по-русски, как, к примеру, нанаец смог бы, отвечает: «Сию секунду».

Может, и послышалось мне, согласен, только он руками замахал, и подошли к нам четверо таких же чумазных. Заворковали по-своему – вроде как впечатлениями делятся. Стою болваном, слушаю, как они мою личную жизнь обсуждают. Хотел уже плюнуть и идти коньяк допивать, как один из них, в кепке и с фиксой во рту, за рукав меня хватает и тащит куда-то в угол.

Там, в потёмках, на стуле сидит ну совсем девчонка, в платки арабско-национальные закутанная, росточком мелкая, глаза большущие, испуганные.

Этот в кепке велит ей платки разматывать, и... Какая ж красота, ребята, глазам моим явилась!.. Шахиня!.. Чурек этот по имени её звал, только я не понял и про себя назвал Шахерезадой. Сашкой, значит... Девчонкой это она сперва показалась, а тут... Нет, словами я вам рассказать не сумею... В общем, не устоял я.

Арабский сводник с меня двадцать долларов требовал... У них доллары уже тогда ходили, задолго до нас. Я ещё удивился: дешёво...

История казалась нам забавной, мы подталкивали друг друга, перемигивались, цокали языками, выражая восхищение старшим товарищем, но его не перебивали.

– Ну, понятно, случайная связь – непрочная, стыдная, – продолжал Семёныч, не очень-то обращая внимание на наши ужимки. – Утром говорю ей: «Иди домой». А она снова в платки запаковалась, сидит, меня глазами ест. Не понимает, вижу. Беру за руку – нежно беру – и вывожу в коридор. Она – в слёзы, лопочет что-то, обратно ко мне в

номер рвётся. Может, денег просит? Даю – не берёт. Дела! Нет, думаю, так не пойдёт. Спустился в холл. А мой дежурный уже вахту отстоял – домой намылился. Поймал я его в дверях.

«Что же это, – говорю, – делается? Забирайте свою девчонку назад, нечего провокации устраивать!» Чёрный этот опять лыбится, руками разводит: не знаю, дескать, ничего. Я его за грудки: «Веди, – говорю, – к фиксатому, я ему морду-то подрихтую!» А тот уже сам, как чёртик, откуда-то из подсобки выскочил. Глаз из-под кепки жмурит, жестами спрашивает: «Что, девочка не понравилась?» «Понравилась, – говорю, – очень даже хорошая девочка. Уведите только её из номера моего, я же сполна расплатился». А он... Сперва я тоже не поверил, точнее, не услышал как бы... Так вот, он мне показывает: «Деньги платил – девчонка твоя». Я ему: «Дела мы с ней все поделали, спасибо, забирайте». Не хочет, злится уже... Долго мы с ним друг на дружку слюнями плевались, дошло бы и до драки, если бы какой-то из наших не оттащил меня и суть вопроса не растолковал.

Да-а... Такие вот у них нравы диковатые. Детей понаражают, а кормить-то их чем? Мальчишки ещё куда ни шло, а вот девок за людей там не держат. Нет, они, конечно, подрастят, в своём обычае воспитают. Но когда со жратвой совсем туго станет, натурально торгуют женщинами! Не во временное пользование – насовсем... А я-то думал, мне досталась жрица, так сказать, продажной любви!

Семёныч коротко потёр ладонью лысеющий лоб, отхлебнул остывшего чаю и продолжил:

– Я тогда, откровенно скажу, струхнул малость. «Прогоню, – думаю, – и дела мне до этой египтянки нету». Но тот, который наш, обрисовал перспективу её дальнейшую: обратно девчонку не примут даже за деньги, даже в прислуги не возьмут, и будет себя продавать по кабакам, пока не убьют

или не изуродуют... Короче, пропала живая душа, и я к этому руку приложил.

Ох, как мне, ребята, захотелось домой, в Нижневартовск, – вкалывать с утра до утра, жить без удобств, только бы не приезжать никогда в этот чёртов Египет! И, говорю я вам, сбежал бы малодушно, если бы ещё разок в глаза ей не посмотрел...

Да что тут... Привёз я эту проблему заморскую в Россию. Заместо багажа вроде. Денег это, конечно, стоило, но дело не в этом. Осеть решил в вашем городе... Хороший городишко – тихий, зелёный. Ну, квартиру купил двухкомнатную, на службу не пыльную, но хлебную пристроился – живу себе. Сашка у меня вроде служанки так и осталась.

С работы прихожу – в доме чистенько, наложница моя на коленях, тапочки мне надевает, к столу накрытому за ручку ведёт... Готовка – язык проглотишь! Сама за спиной стоит, прислуживает. Я ей: «Сашка, сядь поешь». Пристроится на уголку, поклюёт – чисто птичка. И опять на меня глазищами бездонными смотрит.

Мужику-то что надо? Почёт и уважение ему надо. И чтоб в дела его не лезли. И уют в дому. Ну и, конечно... это...

Словом, живу, как падишах на каникулах. Только замечаю: домой меня тянет после работы, будто пружина калёная сжимается туже и туже. И Сашка, вижу, ко мне тянется. А от того всё краше делается. Каждую минутку видеть её хочется, как о ней подумаю – такая в груди пустота ёкает, словно на самолёте – в яму...

Семёныч вдруг замолчал, зашмыгал носом, сделал вид, что поперхнулся чаем, потянулся за сигаретами. Закуривая, исподлобья быстро взглянул в нашу сторону.

– Вот так и присушила она меня, ребятки, египтяночка моя, – Семёныч вздохнул, всем видом показывая, что разговор окончен, что он и сам удивлён вдруг нахлынувшей

откровенностью, отвернулся, будто и не рассказывал ничего вовсе.

Мы верили и не верили – очень уж неправдоподобной казалась эта история. Хотя... как знать. В любом случае конца её мы так и не услышали, но знать его хотели непременно и, как только Семёныч вернулся из душа, навалились на него с расспросами.

– А чего ещё-то? – вроде удивился Семёныч. – Я и говорю: никогда не ведаешь, где судьбу найдёшь. Так что вы, молодёжь, гуляйте пока. А судьба, она сама, когда встретится, вцепится и не отпустит, за собой потащит... И не сделаешь ничего.

Помолчав немного, Семёныч добавил:

– А мы-то с Сашенькой? Живём. Она мне таких пацанов народила!.. Старший школу уже заканчивает... Вот только по-русски так толком и не выучилась. Да беда ли? Мы и без слов друг друга понимаем, потому что – любовь...

Могила

(рассказ)

К середине сентября Белка занедужила, а двадцать четвёртого утром околела. Как лежала последние дни, не поднимаясь, возле печки, так и сдохла. Белка была стара, как сам Никитич, но старик всегда думал, что помрёт первым, и сильно переживал: как же собака останется без него, одна? И вот...

Никитич долго и бездумно сидел на низенькой табуретке перед собачьим трупом. Сам не заметил, как задремал, – просто выпал на время из пространства и всё.

Очнувшись, маетно топтался по горнице, шаркая по

некрашеным половицам стоптанными ботинками. Таким кружным манером Никитич добрался до чулана и, откинув тяжеленную крышку дедовского сундука, стал перебирать хранящийся там скарб. Бережно доставал свадебный свой костюм, женины платья и кофточки, невесть как затесавшиеся в старый сундук почти новые современные джинсы внука Вовки. Вещи Никитич разворачивал, долго и придирчиво оглядывал, вдыхая нафталиновый дух, снова сворачивал и складывал аккуратной стопкой на стоявшую рядом лавку. Почти на самом дне лежала шинель, в которой с войны вернулся. Тогда, в июле сорок пятого, их роту только переобмундировали, а через неделю приказ: по домам. В дороге из далёкой Австрии шинель маленько, конечно, износилась, истёрлась по теплушкам да попуткам, но, следующие полсотни лет пролежав в сундуке крепко пронафталиненной, была теперь точно новая.

В горнице Никитич встряхнул шинель, подумав немного, срезал острым ножом подрастерявшие былой блеск «гербовые» пуговицы и ссыпал их в карман штанов. Сержантские погоны трогать не стал. Он завернул в шинель закоченевшую уже Белку и, ступая осторожно и тяжело, понёс её в сад...

Никитич взял Белку озорным полуторамесячным кутёнком у Славки-охотника с той стороны деревни. Сколь лет-то прошло? Пятнадцать? Нет, семнадцать. Как раз в сентябре это было, полгода спустя, как похоронил жену. Сын Серёга тогда уже работал в городе и домой навещался не часто, а Никитич вдруг затосковал, неведомо стало без живой души рядом...

Положив Белку на пригорке промеж двух яблонь, старик вернулся к сараю за лопатой. Долго громыхал садовым инвентарём, переставляя с места на место стоявшие вдоль стены грабли, вилы, тяпки, поправлял висевшую тут же ник-

чемную теперь конскую сбрую – лошади в его хозяйстве не было почитай лет тридцать. Наконец выбрал подходящую лопату и вдруг всполошился, заторопился к оставленной без присмотра Белке.

Постояв немного, слезливо глядя вдаль, Никитич разметил контур могилы и неторопливо начал копать. Усталое сентябрьское солнце, взобравшись на вершину своей горы, вконец обессилено и стремительно покатилося вниз, к горизонту, будто стремясь быстрее достичь края Земли и сбежать куда-нибудь в Америку...

Когда Серёга с молодой женой перебрался из общежития в отдельную двухкомнатную квартиру, выделенную заводом, он звал Никитича в город, говорил:

– Что ж ты, батя, будешь тут один, как сыч, жить? Посмотри, от деревни ничего не осталось – все теперь в городе. Цивилизация, прогресс... На месте не стоим...

– Не поеду, – отрезал Никитич. – Куда от своих могил? Аннушка, мамка твоя, здесь, мои мать да дед с бабкой... И не один я – у меня вон Белка теперь есть. А ещё, вишь, там, за ручьём, Макариха с Дашкой Марусиной живут, не делись никуда. Да и Славка-охотник неделями в хате старой своей... А ты говоришь...

В следующий приезд Серёга пригрозил отцу увезти его силой. Никитич только пуще заупрямился, обиделся. Потом у сына родился свой сын, приезжать Серёга стал ещё реже – некогда, забот прибыло, стало не до капризного старика...

Копал Никитич усердно, истово, как молился. Поверху попадались толстые корни, перерубать их лопатой у старика не было сил. Тогда он становился на колени и отчаянно тюкал пружинистые деревяки топором. И снова вгрызался в землю, вспоминая, сколько перелопатил её, родимой, на войне, отрывая всяческие сапёрные коммуникации и укрытия, копая другие могилы, чаще братские.

Поначалу края ямы не слушались, норовили осыпаться, но потом пошла глина, и могила стала обретать чёткие прямоугольные очертания, становилась глубже и шире. Никитич, сам того не желая, копал могилу под размер человеческого, а не собачий.

Ровняя лопатой глинозёмные стенки, он вдруг обнаружил, что яма глубиной ему уже выше пояса. Тут Никитич понял, как сильно он устал, и присел на корточки в углу могилы. Он даже не почувствовал, как земля с рыхлых краёв потекла за ворот.

Приятно пахло сырой землёй. Никитич сидел, с неведомым интересом глядя на снующих вокруг измочаленного топором яблоневого корня муравьишек. Мураши думали, что заняты каким-то важным и ответственным трудом, а на самом деле – так, суетились, таская туда-сюда свои бледные яйца из порушенного муравейника. Так и люди: мыкаются по свету, бегут куда-то, подгоняемые то радостью, то бедой...

Никитич уснул – голова его мотнулась на ослабевшей шее и упёрлась в земляную стену. Путаясь в серых всклокоченных волосах, по голове побежали муравьи, которым до холодов нужно было успеть построить новый дом...

Давно уже покоится в земле Макариха. Дашка Марусина, не выдержав безлюдья, сбежала в город, к сестре. Славка-охотник спился и на охоту больше не ходит, а значит, и в деревне не показывается уже лет десять. Никитич недавно ходил, смотрел: хата Славкина – он и прежде-то хозяин был кое-какой – совсем обветшала, собаки, одичав, разбрелись по округе пугать ночную тишь волчиным воем. Остался Никитич в деревне один.

«Как сын», – говорит сын Серёга. Он теперь шофёром работает, возит какого-то городского начальника. Правда, приезжать в последнее время стал чаще. Серёга получает за родителя в райцентре фронттовую пенсию и привозит ему

еду: крупы всякие, макароны да тушёнку. Погреб у Никитича хороший – даже ливерная колбаса долго хранится.

Иногда летом сын привозит на неделю-другую Вовку. Никитич этому рад, но, беда, никак не может совладать с хмурым своим норовом, и внуку быстро надоедает гостить у деда. А что ж, мальцу уже пятнадцатый год – ему развлечения подавай. А где их взять в обезлюдевшей деревне?..

Пробудился Никитич от холода и тут же стал корить себя за недоделанную работу. Уже смеркается, а Белка так и лежит в шинельном саване, не похороненная. Кряхтя и цепляясь за черенок лопаты, старик поднялся, как-то отстранённо подумал, что выбраться из могилы у него уже не хватит мочи, и принялся размеренно, будто в полусне, углублять страшную яму.

В следующий раз остановился, когда до края уже едва мог достать рукой. Выбрасывать наверх землю стало трудно. Сквозь безлистые уже яблоневые ветки в яму равнодушно смотрел змеиный глаз луны, тишина нарушалась только неясными шуршаньями на поверхности, за краями ямы, там, где всё ещё лежала Белка. Снова забеспокоился Никитич, зашарил скрюченными пальцами по земляным стенам. Разогнулся, насколько смог, даже на цыпочки привстал, нащупал наверху край грубого сукна и потянул к себе.

«Так и будем тут с моей Белкой, вместе», – деловито рассуждал Никитич, изо всех сил таща свёрток к краю ямы и отплёвываясь от летевшей в лицо земли.

Вдруг старик отчётливо понял, что силы его покинули и больше уже не вернутся. Он сполз всё в тот же могильный угол и неслышно заплакал. Необыкновенно светлые от луны слёзы медленно ползли по небритым морщинистым щекам и навсегда прятались в глубоких складках на шее.

Белка же, Белка так и осталась на полпути к своему последнему пристанищу...